

Бакунин Михаил.

Письма

- Письмо Бакунина к Нечаеву. Личные отношения, стратегия, тактика и организация революционного движения в России.

Письмо Бакунина к Нечаеву. Личные отношения, стратегия, тактика и организация революционного движения в России.

2 июня 1870, источник: [здесь](#).

Предисловие Пустарнакова из «Бакунин. Философия. Социология. Политика».

Оригинал этого написанного по-русски письма М. А. Бакунина к С. Г. Нечаеву не сохранился. Впервые копию этого письма, в которой есть отдельные пропуски и неразборчиво написанные слова, опубликовал в 1966 году французский русист М. Конфино. В СССР бакунинское письмо полностью опубликовано в 1985 году в «Литературном наследии».

Учитывая особую важность письма М. А. Бакунина для характеристики его мировоззрения вообще и его взаимоотношений с С. Г. Нечаевым, мы считаем целесообразным воспроизвести его, взяв за основу первую публикацию М. Конфино с учетом советской публикации 1985 года.

Орфография, пунктуация и ономастика публикуемого текста по возможности приближена к нормам современного русского литературного языка. Однако при общей унификации текста, с целью сохранения своеобразия авторского стиля допущены некоторые отклонения...

Впервые письмо Бакунина, написанное на русском языке, опубликовал французский русист М. Конфино в журнале «Cahiers du monde russe et soviétique» (1966. Vol. VII. № 4).

Письмо С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 года было переиздано в дальнейшем в «Архиве Бакунина» под редакцией Артура Ленинга (см. Archives Bakounine. IV. Michel Bakounine et ses relations avec Sergej Nečaev. 1870-1872. Leiden, 1971. С. 103-141) и воспроизведено в парижской версии этого издания (см: Bakounine M. Œuvres complètes. Т. 5. Paris, 1977. Р. 103-141). В СССР это письмо опубликовано в приложении к статье С. В. Житомирской и Н. М. Пирумовой «Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в “нечаевской истории (1870)”» (Литературное наследие. Т. 96. 1985. С. 499-522). Как первая, так и остальные публикации представляют собой воспроизведение сохранившейся копии этого письма. В копии оказались отдельные пропуски и неразобранные слова. Публикаторы некоторые места расшифровали по смыслу, другие – оставили нерасшифрованными. В данном издании за основу взята первая публикация М. Конфино, но с учетом некоторых расшифровок в последующих публикациях и комментариев к ним. При наличии нескольких публикаций, дающих полное представление о текстологических особенностях оригинала, мы считаем возможным специально отметить знаком только те места бакунинского письма, которые не поддаются пока расшифровке или остаются проблематичными. Слова, написанные Бакуниным сокращенно (м. б. – может быть, п. ч. – потому что, следов. – следовательно и т. д.), даются полностью без оговорок.

Письмо к Нечаеву.

Любезный друг — теперь обращаюсь к Вам и через Вас к вашему, к нашему Комитету[1]. Надеюсь, если Вы теперь добрались до безопасного места, в котором, свободные от мелких дразг и хлопот, Вы можете спокойно обдумать свое и наше общее положение, положение нашего общего дела.

Начнем с признания, что наша первая кампания, начатая в 1869 году потеряна, мы разбиты. Разбиты по двум главным причинам. Первая — народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения еще не переполнились. Видно, вера в себя, в свое право и в свою силу еще не загорелась в нем и не нашлось достаточного количества дружно действующих и по России разбросанных людей, способных возбуждать эту веру. Вторая причина: организация наша и по качеству, и по количеству своих членов, и по самому способу своего составления оказалась недостаточной. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много драгоценных людей.

Это факт несомненный, который мы должны сознать вполне, нисколько не торгуясь с ним, для того чтобы сделать его точкою отправления для своих дальнейших рассуждений, предприятий и действий.

Вы, а с Вами вместе, без сомнения, и ваши друзья сознали его прежде, гораздо прежде, чем высказали мне его; да можно сказать, что Вы и не высказывали его мне никогда, я должен был его сам угадать из многих и явных противоречий в ваших речах и, наконец, убедиться в нем по общему положению дела, которое стало говорить так ясно, что не было возможности

[неразборчиво] скрыть его даже от посвященных друзей. Вы были убеждены в нем более чем наполовину, когда приезжали ко мне в Локарно, а между тем Вы говорили мне с полнейшею уверенностью и самым утвердительным образом о близости необходимого восстания. Вы обманули меня, и я, подозревая или чувствуя инстинктивно обман, сознательно и систематически отказывался верить в него; Вы продолжали говорить и действовать точно как будто бы Вы говорили мне чистую правду. Если бы в свою бытность в Локарно Вы показали бы мне настоящее положение дела и в отношении народном, и в отношении к организации, я написал бы воззвание свое к офицерам[2] в таком же самом направлении и духе, но другими словами; и это было бы и для меня, и для Вас, а главное, для самого дела лучше. Я не стал бы им говорить о предстоящем движении.

На Вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что, если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, Вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и мы все горячо любим и глубоко уважаем Вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашей главной, исключительной системой, вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела.

Прежде, однако, чем попробую и, надеюсь, успею доказать Вам это, скажу несколько слов о моих отношениях к Вам и к вашему Комитету и постараюсь объяснить, почему, несмотря на все предчувствия и разумно-инстинктивные сомнения, предупреждавшие меня все более и более против истины ваших слов, я до сих пор не верил и до последнего приезда моего в Женеву говорил и поступал так, как будто я верил в них безусловно.

Можно сказать, что вот уже 30 лет как я отделен от России; от 1840-го до 51-го года я пробыл за границей сначала с паспортом, потом как эмигрант. В 1851-ом году, после двухгодичного заключения в саксонских и австрийских крепостях, я был выдан русскому правительству, которое в продолжение еще 6 лет держало меня сначала в Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине, потом в Шлиссельбурге. В 1857 я был отправлен в Сибирь, пробыл два года в Западной и два года в Восточной. В 1861-ом году бежал из Сибири, с тех пор, разумеется, не возвращался в Россию. Итак, в продолжение 30 лет я прожил всего 4 года (9 лет тому назад), от 57 до 61, на свободе в России, то есть в Сибири. Это, разумеется, дало мне возможность ближе познакомиться с русским народом, с мужиками, с мещанами и с купечеством, и то специально сибирским, но не с революционной молодежью. В мое время не было других политических ссыльных в Сибири, кроме немногих Декабристов и поляков. Знал я еще, правда, четырех Петрашевцев[3]: Петрашевского, Львова и Толя – но эти люди представляли собой нечто переходное от Декабристов к настоящей молодежи, были доктринерными, книжными социалистами, фурьеристами и педагогами. Настоящей молодежи, той, в которую я верю, – этого бессословного сословия, этой бездомно – [неразборчиво] фаланги народной революции, о которой я говорил несколько раз в своих писаниях, я не знаю[4] и только теперь начинаю мало-помалу знакомиться с ней.

Большая часть русских людей, приезжавших на поклон к Герцену в Лондон, были порядочники или литераторы, или либеральствующие и демократствующие офицеры. Первый серьезный русский революционер был Потебня, второй Вы. Об Утине и об остальных женевских эмигрантах я говорить не буду. – Значит, до самой встречи с Вами настоящая русская революционная молодежь оставалась для меня «terra incognita».

Немного мне было нужно времени, чтобы понять вашу серьезность, чтобы поверить Вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что будь вас, таких, хоть немного, вы представляете серьезное дело, единственное серьезное революционное дело в России, и, раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам всеми силами и средствами и связаться, сколько могу, с вашим русским делом. Тем легче было мне решиться на это, что ваша программа, по крайней мере, в прошедшем году, не только вполне соответствовала, но была вполне одинакова с моей программой, выработанной постоянным [неразборчиво] и целым опытом довольно продолжительной политической жизни. Определим в нескольких чертах эту программу, на основании которой мы с Вами в прошедшем году соединились совершенно и от которой Вы, по-видимому, теперь довольно значительно удаляетесь, но которой я, с моей стороны, остался до такой степени верен, что если бы ваши убеждения и удаление ваше или ваших друзей от нее было совершенно окончательным, я считал бы себя обязанным разорвать все интимно-политические отношения к Вам.

Программа ясно высказывается в нескольких словах: всецелостное разрушение государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальной, но безыменной и коллективной диктатурой друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество и действующих всегда и везде ради единой цели, по единой программе.

Такова мысль и таков план, на основании которого я соединился с Вами и для исполнения которого я подал Вам руку. Вы сами знаете, как я остался верен признанному мной обещанию союза. Вы знаете, сколько я показал Вам веры, убедившись раз в вашей серьезности и в одинаковости революционных программ между нами. Я не спрашивал Вас, ни кто ваши друзья, ни сколько их, не проверял вашей силы, а верил Вам на слово.

Верил ли я по слабости, по слепости или по глупости? Вы сами знаете, что нет. Вы знаете очень хорошо, что во мне слепой веры никогда не было и что еще в прошедшем году в одиноких разговорах с Вами и раз у Огарева и при Огареве я Вам сказал ясно, что мы Вам верить не должны, потому что для Вас ничего не стоит солгать, когда Вы полагаете, что ложь может быть полезна для дела, что, следовательно, мы другого залога истины ваших слов не имеем, кроме вашей несомненной серьезности и безусловной преданности делу. Что это гарантия большая, но не спасающая, однако, Вас от ошибок, а нас от промахов, если мы предадимся Вам слепо.

И, несмотря на это убеждение, несколько раз высказанное мною Вам, я все-таки оставался в связи с Вами и помогал Вам везде сколько мог; хотите знать, почему это я делал? Во-первых, потому что до вашего отъезда из Женевы в Россию наши программы были действительно

одинаковы. В этом я мог убедиться не только из всех наших ежедневных разговоров, но еще из того, что все писания мои, задуманные и напечатанные при Вас, возбудили в Вас большую симпатию именно теми пунктами, которые более и яснее других высказывали нашу общую программу, и потому что ваши писания, напечатанные в прошедшем году, носили тот же самый характер.

Во-вторых, потому, что, признавая в Вас действительную и неутомимую силу, преданность, страсть [неразборчиво] и мышление, я считал Вас и считаю способным сплотить вокруг себя и не для себя, а для дела, настоящие силы; я говорил себе и Огареву, что, если они еще не сплочены, то непременно сплотятся в скором времени.

В-третьих, потому, что, признав Вас из всех мне известных русских людей за самого способного для исполнения этого дела, я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы оба стары и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного, чем Вы; что поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны связаться с Вами, а не с кем другим. Комитета и всего вашего общества мы не знаем и можем судить об них только по Вас. Если же Вы серьезны, почему же вашим друзьям, настоящим или будущим, не быть серьезными. Ваша несомненная серьезность была для меня залогом, с одной стороны, что вы пустых людей в свою среду не допустите, а с другой, что Вы один не останетесь, а будете стараться создать коллективную силу.

Есть, правда, в Вас один слабый пункт, поразивший меня с первых дней нашей встречи, но на который я, признаюсь, не обратил надлежащего внимания, это ваша неопытность, незнание людей и жизни и сопряженный с ними фанатизм, не чуждый мистицизма. Незнакомство с общественными условиями, привычками, нравами, мыслями и обычными чувствами так называемого образованного мира делает Вас, даже и теперь еще, неспособным действовать с успехом в его среде, даже в видах его разрушения. Вы до сих пор еще не знакомы с средствами, которыми можно приобретать в нем влияние и силу, что обрекает Вас на неминуемые промахи всякий раз, когда необходимость самого дела приводит Вас с ним в соприкосновение. Это явно сказалось в несчастной попытке вашей издавать «Колокол» на невозможных условиях. Но о «Колоколе» поговорим после. Незнание людей обрекает Вас на неизбежные промахи. Вы в одно и то же время слишком много требуете и слишком много ожидаете от них, задавая им задачи не по силам, в той вере, что все люди должны быть проникнуты той же страстью, какой проникнуты Вы. Вы, вместе с тем, совсем не верите в них, вследствие чего Вы отнюдь не рассчитываете на страсть, возбужденную в них, на создавшееся в них направление, на самостоятельную честность их стремлений к вашей цели, а стараетесь их закрепить, запугать, связать внешними и большей частью далеко недостаточными контролями, так, чтобы, раз попавши в ваши руки, они никогда не могли бы вырваться из них. А между тем они вырываются и будут вырваться из них беспрестанно, пока Вы не перемените систему действий с ними, также как и не будете искать преимущественно в них самих главного соединения с Вами. Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис – катехизисом абреков, Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей должно быть нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше

собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм Вы хотели бы, да еще и теперь хотите сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение губительно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять всегда мимо. Никакой человек, как бы он ни был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна ни была его дисциплина и как бы могуча ни была его организация, никогда не будет в силах победить природу. Пытаться ее победить могут только религиозные фанатики и аскеты – и потому я удивлялся недолго и немного, встретив в Вас какой-то мистически-пантеистический идеализм. В связи с вашими характерными направлениями мне это казалось ясно совершенно, хотя и совершенно нелепо. Да, мой милый друг, Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола. Вы по образу мыслей подходите больше к Тецелю[5] [неразборчиво] более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик – в этом ваша огромная характерная сила; но вместе с тем и ваша слепота, а слепота, большая и губительная слабость, слепая энергия блуждает и спотыкается, и чем страшнее она, тем неминуемое и тем значительнее промахи. В Вас огромный недостаток критики, а при таком недостатке [неразборчиво] оценка людей, положений и соразмерений средств с целью [неразборчиво] невозможны.

Все это я понимал и говорил еще себе в прошедшем году. Но все это уравнивалось во мне в вашу пользу двумя соображениями. Во-первых, я признавал и признаю в Вас огромную и, можно сказать, абсолютно чистую силу – чистую от всякой себялюбивой и тщеславной примеси, силу, подобную которой я не встречал еще в других русских людях; а во-вторых, я говорил и говорю себе, что Вы еще молоды, к тому же так цельны и так отречены от личных, себялюбивых капризов и самообольщений, что не можете оставаться долгое время на ложном пути и в заблуждении, пагубном для самого дела. Я и теперь в этом уверен.

Наконец, я очень хорошо чувствовал и видел, что Вы далеко не имели ко мне полного доверия и во многих отношениях стремились сделать меня средством для неизвестных мне ближайших целей. Но это несколько не смущало меня.

Во-первых, мне нравилась ваша молчаливость насчет лиц, принимавших участие в вашей организации, и насчет того убеждения, что в такого рода делах людям самым доверенным и близким следует знать только о том, знание чего практически необходимо для успеха их специального дела. И Вы мне отдадите эту справедливость, что я никогда не делал Вам нескромных вопросов. Если бы Вы даже, в противность своей обязанности, назвали мне имена, то я все-таки не узнал бы ничего, не зная лиц, носящих эти имена. Я был бы принужден судить о них по Вас, а Вам я верил и верю. Комитет, составленный из людей Вам подобных и заслуживших ваше полное доверие, по-моему, заслуживает с нашей стороны не менее полное доверие.

Является вопрос: существовала ли, действительно, ваша организация или Вы только собирались кое-как создать ее? А если она существовала, была ли она многочисленна, составляла ли уже, по крайней мере, зародыш силы или все это существовало только в надежде? Существовал ли даже сам Комитет, ваша святая святых, в том виде и с тем несомненным сплочением сил на жизнь и на смерть —или Вы только готовились создать

его, одним словом, представляли ли Вы собою одиночную, весьма почтенную, правда, но только личную силу или силу коллективную, уже действительно существующую? если общество и руководящий Комитет действительно существовали, предполагая в них, особенно в Комитете, исключительное участие людей верных, крепких, так же фанатично преданных и от себя отреченных, как Вы сами, мне представляется еще другой вопрос: было ли и есть ли в нем достаточно практического ума и знания, достаточно теоретической подготовки и способности понимания условий и отношений русской народной и сословной жизни для того, чтобы сделать революционный Комитет, никак не ничтожный, а действительный, и для того, чтобы покрыть всю русскую жизнь и проникнуть во все общественные слои действительно могучей организацией. От горячей энергии действующих зависела искренность дела, от их практического ума и знания – его успех

Для того чтобы узнать это, для того, в действительности и в возможности, то есть в уме вашего предприятия, я Вам беспрестанно ставил множество вопросов и признаюсь, что ваши ответы отнюдь не удовлетворяли меня. Как Вы ни отвертывались и ни виляли, Вы поневоле мне высказали следующее: общество ваше по своей численности было еще весьма незначительно, по материальным средствам своим еще менее. Практического ума, знания и умения в нем еще очень мало. Но Комитет, Вами составленный, без сомнения, из людей, подобных Вам, и между ними Вы – один из самых лучших, из самых крепких. Вы создатель и до сих пор руководитель общества. Все это, мой милый друг, я понял и узнал еще в прошедшем году. Но это отнюдь не мешало мне присоединиться к Вам, признав в Вас [неразборчиво], умного и страстно преданного деятеля, каких мало, уверенный в том, что Вы успели найти хоть несколько людей, Вам подобных, и сплотиться с ними, я также был уверен и до сих пор остаюсь уверенным в том, что путями опыта и горячих и неутомимых стремлений Вы скоро добьетесь до того знания, ума и умения делать, без которого успех невозможен. А так как, кроме вашего кружка, я не предполагал и не предполагаю возможности существования в России другого столь же серьезного кружка, то, несмотря на все, я решился остаться в соединении с Вами.

Я несколько не сердился на Вас за то, что Вы старались постоянно преувеличивать предо мною вашу силу, это объективная и часто полезная, а иногда и смелая замашка всех конспираторов. Правда, что я видел в вашем старании обмануть меня доказательство вашего, еще недостаточного, понимания людей. Мне казалось, что из всех разговоров наших Вы должны были понять, что для того, чтобы привлечь меня, не требовалось с вашей стороны доказательств уже существующей и организованной силы, а только доказательство непреклонной и разумной воли создать такую силу. Я понял также то, что, являясь передо мной как представитель и нечто вроде посланника уже существующей и достаточно сильной организации, таким образом казалось Вам, Вы ставили себя в положение представить мне свои условия от очень могучей силы; в то время, когда бы Вы явились только передо мной как лицо, собирающее силу, Вы должны были бы говорить со мной как равный с равным, как лицо с лицом и подвергнуть моему [неразборчиво][6] и вашу программу, и план действий.

Это не входило в ваши расчеты. Вы были слишком фанатично преданы вашей программе и вашему плану, для того чтобы подвергнуть их чьей бы то ни было критике. А во-вторых, вы не имели достаточно веры в мою преданность делу и в мое разумение его, для того чтобы

показать мне самое дело в настоящем его виде. Вы относились скептически ко всей эмиграции и были правы, ко мне, может быть, менее скептически, чем к другим, потому что я Вам дал слишком много доказательств моей готовности служить делу, без всяких личных притязаний и тщеславных расчетов. Но все-таки Вы смотрели на меня как на инвалида, советы и знания которого могут быть иногда полезны, не более [неразборчиво]: участие которого в вашем горячем деле было бы излишне и даже вредно. Я это слишком хорошо видел, но это отнюдь не обижало меня. Вы сами знали [неразборчиво] этого и не могли меня побудить к разъединению с Вами. Мне не след было доказывать Вам, что я совсем не такой отпетый к делу горячему, настоящему делу, неспособный человек, как Вам казалось. Я предоставлял и предоставляю времени и вашему собственному опыту убедиться в противном.

К тому же было и до сих пор существует особенное обстоятельство, принудившее и принуждающее меня держать себя весьма осторожно по отношению ко всем русским делам и людям. Это мое совершенное безденежье. Всю жизнь я боролся с бедностью, и всякий раз, когда мне удавалось предпринять и делать мало-мальски что-нибудь полезное, я делал это не на свои, а на чужие средства. Это с давних времен навлекло на меня, особенно со стороны русской сволочи, целую тучу клеветы и нареканий.

Эти господа совсем опоганили мою репутацию и тем значительно парализовали мою деятельность. Нужно было всей неподдельной страсти и искренней воли, которые в себе, без всякого хвастовства и по опыту, сознаю, для того, чтобы не сломиться и для того, чтобы продолжать делать. Вы также [неразборчиво] знаете, как ложны и подлы слухи о моей личной роскоши и о моем стремлении нажиться на счет других, надувании других. А между тем русская эмигрантская сволочь – Утин и Компания – смеет называть меня надувателем и своекорыстным эксплуататором, меня, который с тех пор, как я себя помню, никогда не жил и не хотел жить в свое удовольствие и стремился всегда к освобождению других. Не примите это за самохвальство – я говорю Вам это и друзьям и чувствую необходимость и право высказать это Вам один раз навсегда.

Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению дела, я должен иметь средства для жизни. Я становлюсь стар, восьмилетнее [неразборчиво] заключение породило во мне хроническую болезнь, с моим поэтому попорченным [неразборчиво], требующим известного ухода, известных условий, для того чтобы служить делу с пользой – к тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять эту сумму, если я весь труд свой отдам общему делу?

Есть еще другие соображения; основав несколько лет тому назад Интернационально-тайно-революционный Союз, я не могу и не хочу бросать его, для того чтобы предаться исключительно русскому делу. К тому же в моей мысли интернациональное и русское дело – одно дело. До сих пор интернациональное дело не давало мне средств к жизни, а только вовлекало в издержки. Вот Вам в нескольких словах ключ к моему положению, и Вы поймете, что эта бедность, с одной стороны, а с другой, подлые клеветы, распушенные обо мне русскими эмигрантами, связывают меня в отношении ко всем новым людям, в отношении ко всем делам. Видите, сколько было причин для меня Вам не навязываться, не

требовать от Вас доверия, более, чем Вам казалось полезным; [неразборчиво] ждать, чтоб Вы и ваши друзья убедились, наконец, сами в возможности, в пользе и необходимости вашего доверия.

Вместе с тем я очень хорошо видел и знал, что, обращаясь ко мне не как равный к равному, не как доверяющий к доверенному лицу, Вы, сообразно вашей системе и повинувшись, так сказать, логической необходимости, смотрели на меня как на опытное, на 3/4 слепое орудие для дела и употребляли меня, мою деятельность, мое имя как средства. Таким образом, не имея в действительности той силы, о которой Вы мне говорили, Вы пользовались моим именем, для того чтобы создать силу в России; так что много людей действительно думают, что я нахожусь во главе тайного общества, о котором я сам, как Вам, впрочем, известно, ровно ничего не знаю.

Должен ли я был позволить употребление своего имени как средства для пропаганды и для привлечения людей в организацию, план действий и ближайшие цели которой были мне на 3/4 неизвестны? Не запинаясь, отвечаю утвердительно, да, мог и должен. Вот мои причины:

Во-первых, я всегда был убежден, что русский революционный Комитет должен и может действовать только в России и управление русской революцией делать из-за границы – нелепость.

Если Вы и друзья ваши останетесь долго за границей, то я и вас бы объявил неспособными быть доле членами Комитета. Если вы сделаетесь эмигрантами, то вы должны будете так же точно, как сделал я, подчиняться во всем русским делам в России, безусловному руководству, признаваемому вами (на основании программ и плана, обсужденных вместе) новому Комитету в самой России; сами же образовать заграничный русский Комитет для самостоятельного управления всеми русскими отношениями, делами, людьми и кружками за границей, в полном согласии с видами русского Комитета, но с подлежащей автономией и независимостью в выборе средств и способов действий, и, главное, в совершенном согласии с Интернациональным Союзом. В таком случае я буду требовать по обязанности, по праву быть равноправным членом этого заграничного русского комитета, что и сделал, впрочем, в последнем письме к Комитету и к Вам, признавая, что русский Комитет должен быть в самой России. Я, разумеется, не имел возможности и намерения возвратиться в Россию, не имею также и претензии быть его членом. С программой и общими целями действий его я познакомился через Вас и, так как был с Вами вполне согласен, изъявил свою готовность, свою твердую решимость помогать и служить ему всеми зависящими от меня средствами; а так как мое имя казалось Вам средством, полезным для привлечения новых людей в вашу организацию, я дал Вам свое имя, Я знал, что оно будет употреблено для дела (в этом мне служили ручательством наша общая программа и ваш характер) и не боялся, что рядом ошибочных действий, промахов оно может подвергнуться общественному нареканию – к ругательствам мне не привыкать.

Но вспомните, что еще прошедшим летом было выговорено между нами, что все русские предприятия, дела и люди за границей будут известны мне и что все, что ни будет сделано или предпринято за границей, не будет сделано без моего ведома и согласия. Это было условие необходимое. Во-первых, потому, что я гораздо лучше знаю заграничный мир, чем

кто-либо из вас, а, во-вторых, потому, что слепая и несамостоятельная солидарность с Вами в заграничных делах и публикациях могла бы поставить меня в положение, противное обязанностям и правам как члена Интернационального Союза. Это условие, как мы увидим, однако, не было исполнено с вашей стороны; и, если оно не будет приведено в исполнение совершенное, я буду вынужден разорвать с Вами всякие интимно-политические отношения.

Прежде всего моя система разнится тем, что она не признает ни пользы, ни даже самой возможности другой революции, кроме стихийной, или народно-социальной. Всякая другая революция, по моему глубочайшему убеждению, бесчестна, вредна, свободо- и народо-убийственна, потому что она сулит народу новую нищету и новое рабство; а главное, всякая другая революция стала отныне невозможной, недостижимой и неисполнимой.

Централизация и цивилизация, железные дороги, телеграфы, новое вооружение и новая организация войск, вообще административная наука, то есть наука систематического порабощения и эксплуатирования народных масс и наука укрощения народных и всяких других бунтов, столь тщательно разработанная, проверенная опытом и усовершенствованная в продолжение последних 75 лет новейшей истории, – все это вместе вооружило государство в настоящее время такой громадной силой, что все искусственные, тайно-заговорные и внешнеародные попытки, внезапные нападения, сюрпризы, удары — должны обрушиться об нее и что оно может быть побеждено, сломлено только стихийно-народно-социальной революцией.

Итак, единственной целью тайного общества должно быть не создание искусственной внешнеародной силы, а возбуждение, сплочение и организация стихийных народных сил; таким образом, единственно возможная, единственно действительная армия революции – не вне народа, а сам народ. Народ искусственно возбудить невозможно, народные революции порождаются самой силой вещей или тем историческим током, который подземно и невидимо, хотя и непрерывно и большей частью медленно, течет в народных слоях, все больше их обнимая, проникая, подкапывая, до тех пор, пока не вырвется из-под земли наружу и, своим бурным течением ломая препятствия, не уничтожит всего, что ему попадется на дороге.

Такую революцию искусственно произвести невозможно. Нельзя даже ее значительно ускорить, хотя и не сомневаюсь в том, что дельная и умная организация может облегчить ее взрыв. Есть периоды в истории, когда революции просто невозможны; есть другие периоды, когда они неминуемы. В каком из этих двух периодов мы находимся ныне? По моему глубокому убеждению, в периоде повсеместной неминуемой народной революции. Не стану доказывать справедливость такого убеждения, потому что это завлекло бы меня слишком далеко. К тому же мне и не нужно доказывать ее, так как я обращаюсь здесь к человеку и людям, которые, кажется, разделяют это убеждение вполне. Я говорю: везде, в целой Европе социально-народная революция неминуема. Скоро ли она вспыхнет и где вспыхнет прежде: в России, или во Франции, или в какой другой части Запада? Никто этого предсказать не может. Может быть, она вспыхнет через год, прежде года, может, не прежде 10 или 20 лет. Не в том дело, и люди, которые намерены честно служить, служат ей не ради своей потехи. Все тайные общества, которые хотят принести ей действительную пользу, должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения. Спать они не должны, должны, напротив, быть по возможности готовыми во всякую минуту,

следовательно, на чеку, всегда способными воспользоваться каждым удобным случаем; но вместе с тем они должны быть заложены и организованы не в видах близкого восстания, а с целью продолжительной и терпеливой подземной работы по примеру наших друзей отцов иезуитов.

Ограничу свои рассуждения Россией. Когда грянет русская революция? Мы этого не знаем. Многие, и я грешный, между прочим, ждали всенародного восстания в 1870 году, а народ не проснулся. Должно ли из этого заключить, что русский народ может обойтись и без революции, что он минует ее? Нет, такое заключение невозможно, было бы бессмысленно. Кто знает безвыходное, просто критическое положение нашего народа в экономическом и политическом отношении, а с другой стороны, решительную неспособность нашего правительства, нашего государства не только изменить, но хоть сколько-нибудь облегчить его положение – неспособность, вытекающую не из того или другого свойства наших правительственных лиц, а из самой сущности нашего государственного строя в особенности и вообще всякого государства, – тот непременно должен прийти к заключению, что русская народная революция неминуема. Она не только отрицательно, она положительно неминуема, потому что в нашем народе, несмотря на все его невежество, исторически выработался идеал, к осуществлению которого он известно или неизвестно стремится. Этот идеал – общинное владение землею с полною свободою от всякого государственного притеснения и от всяких поборов. К этому стремился он при Лжедмитриях, при Стеньке Разине, при Пугачеве и стремится теперь непрестанными, но разрозненными и потому всегда укрощаемыми бунтами.

Я указал только на две главные черты народно-русского идеала, отнюдь не имея претензии очертить его вполне несколькими словами. Мало ли что живет еще в интеллектуальных стремлениях русского народа и что выйдет на свет с первою революцией. Теперь мне и этого достаточно для того, чтобы доказать, что наш народ не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать что ему угодно, – например, хоть вашу коммунистическую программу. У него выработалась, отчасти сознательно, на три четверти, пожалуй, бессознательно, программа своя, которую тайная организация должна узнать, угадать и с которой она обязана будет сообразоваться, если только желает успеха.

Несомненный и равно нам известный факт, что при Стеньке Разине, также и при Пугачеве, то есть всякий раз, когда народный бунт удавался, хоть на некоторое время, народ наш делал одно; забирал всю землю в общинное владение, отправлял к черту дворян-помещиков, царских чиновников, а иногда и попов и организовывал свою вольную общину. Значит, у нашего народа есть в памяти и в идеале уже один драгоценный элемент для будущей организации, элемент, которого еще нет у западных народов, – это вольная экономическая община. В народной жизни и в народной мысли есть два начала, два факта, на которые мы опереться можем: частые бунты и вольно-экономическая община. Есть еще третье начало и третий факт, это – казачество или разбойнически-воровской мир, заключающий в себе равно протест и против государственного, и против патриархально-общинного притеснения и напоминающий, так сказать, две первые.

Частные бунты, хотя и вызываемые всегда случайными обстоятельствами, тем не менее, происходят из общих причин и выражают глубокое и всеобщее неудовольствие народа.

Они составляют как бы обыденное или обыкновенное явление русской народной жизни. Нет деревни в России, которая бы не была глубоко недовольна своим положением и которая не ощущала бы нужду, тесноту, притеснения и не таила в глубине своего коллективного сердца желание захватить всю помещичью, а затем всю крестьянско-кулацкую землю и убеждение, что она имеет на это несомненное право, – нет деревни, которую умеючи не было бы возможности взбунтовать. Если деревни не бунтуются чаще, так это единственно от страха, от сознания своего бессилия. Сознание это происходит от разъединенности общин, от отсутствия действительной солидарности между ними. Если бы каждая деревня знала, могла надеяться, что, в то время как она встанет, встанут все другие, то можно сказать наверное, что не было бы ни одной деревни в России, которая бы не взбунтовалась. Отсюда вытекает первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества – одним словом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, всенародный бунт.

Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомол, бегунов, воров и разбойников – весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнутовой цивилизации. Это было высказано в безымянном листке «Постановка революционного вопроса»[7] и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринерскую византийскую болтовню за дело, вопль негодования. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всей нашей историей. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль совокупителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги – лучшие и самые верные проводники народной революции, приуготовители общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекулянты и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, с своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противучеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаюсь, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованного и чистоплотного мира, скрывающего под своими западногладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших случаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном разврате есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разврата, против Государства – есть, поэтому, возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.

Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших – идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством искусственной тайной организации навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю, а убежден, напротив, что при первом разгроме всероссийского государства, откуда бы он ни произошел, народ подымется не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по вашему идеалу, а по своему, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержать или даже видоизменить его самородного движения, – ибо никакая плотина не в состоянии воздержать бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, – уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровской и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо.

Хорошо ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народной революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того, тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и всенародный мир, – ужасный мир. Русская революция будет, несомненно, ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.

Употребить разбойнический мир как орудие народной революции, как средство для совокупления разобщенных частных общинных бунтов – дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырской силой, страстным убеждением и железной волей. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам – не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все их беспокойные страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия – но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель – у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая, сильная, непочатая и неистощенная и, следовательно, открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется, живая, а не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с Вами эту переписку.

Другой драгоценный элемент будущей народной жизни в России, сказал я, это вольно-экономическая община, элемент действительно драгоценный, которого нет на Западе.

Западная социальная революция должна будет создать этот необходимый и основной зародыш всей будущей организации, и создание его будет стоить Западу много, много хлопот. У нас он уже создан; случись революция в России, провались государство со всеми своими чиновниками, русская деревня организуется без малейшего труда сама собою в тот же день. Но зато в России предстоит трудность другого рода, которой нет на Западе. Наши общины страшно разъединены, почти не знают друг друга и часто становятся друг к другу во враждебное отношение, по древнему русскому обычаю. В последнее время благодаря финансовым мерам правительства они стали привыкать к волостному соединению, так что волость приобретает все более и более народный смысл, народное освящение, но затем все и кончается. Волости решительно не знают и не хотят знать друг о друге. А для устройства революционной победы, для организации будущей народной свободы необходимо, чтобы волости собственным народным движением соединились в уезды, уезды в области, области же образовали бы между собой вольную русскую федерацию.

Пробудить в наших общинах сознание этой необходимости ради их собственной свободы и пользы – опять-таки дело тайной организации – потому что никто, кроме нее, никто за это дело приняться не захочет, интересы правительства и всех привилегированных классов ему прямо противны. Как за него приняться, что и как делать, чтобы пробудить в общинах это спасительное, едино-спасительное сознание, – об этом распространяться здесь не место.

Так вот, милый друг, в ее главных чертах целая программа народно-русской революции, глубоко запечатленная в историческом инстинкте и в целом положении нашего народа. Кто хочет встать во главе народного движения, тот должен принять ее вполне и быть ее исполнителем. Кто захочет навязать народу свою программу, тот останется в дураках.

Сам народ, как мы видели, вследствие невежества и разъединения не в состоянии ее формулировать, связать в систему и сплотиться во имя нее. Значит, ему нужны помощники. Откуда же возьмутся эти помощники? Это во всякой революции самый трудный вопрос. До сих пор на целом Западе помощники революции, выходя из привилегированных классов, оказывались почти всегда ее эксплуататорами. И в этом отношении Россия опять-таки счастливее Запада. В России есть огромная масса в одно и то же самое время образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода людей; три четверти по крайней мере ныне учащейся молодежи находится именно в таком положении. Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян, ну да что говорить, Вы знаете этот мир лучше меня. Принимая народ за революционную армию, вот наш генеральный штаб, вот материал, драгоценный для тайной организации.

Но этот мир надо действительно организовать и морализировать. Вы же своей системой его развращаете и готовите в нем себе изменников, народу же эксплуататоров. Вспомните, что во всем этом мире, за исключением малого числа железных, высоконравственных натур, выработавшихся посреди грязного притеснения и несказанной нужды, по дарвиновскому методу, – настоящей нравственности очень немного. Добродетельны, то есть народолюбивы они, стоят за всякую справедливость против всякой несправедливости, за всех притесненных против всех притеснителей – только благодаря положению, отнюдь же не по сознанию и по воле. Возьмите Вы из этого мира по жребию сотню людей и поставьте их в

положение, которое бы позволило им эксплуатировать и притеснять народ, – можно сказать наверное, что они будут его преспокойно эксплуатировать и притеснять. Следовательно, самостоятельной добродетели в них мало. Надо, пользуясь их бедственным, помимо воли их добродетельным положением, постоянной пропагандой и силой организации возбудить, воспитать, укрепить в них и сделать страстно-сознательною эту добродетель. А Вы делаете совершенно противное; следуя иезуитской системе, Вы систематически убиваете в них всякое человеческое личное чувство, всякую личную справедливость – как будто бы чувство и справедливость могли быть безличными – воспитываете в них ложь, недоверие, шпионство и доносы, рассчитывая гораздо больше на внешние путы, которыми Вы их связали, чем на их внутреннюю доблесть. Так что стоит только перемениться обстоятельствам, достаточно, чтобы они сознали, что правительственный страх страшнее вашего страха, для того чтобы, воспитанные Вами, они сделались отличными правительственными слугами и шпионами. Ведь факт теперь несомненный, мой милый друг, что огромное большинство ваших товарищей, попавших в полицейские руки, без особенного усилия со стороны правительства, без пыток, все и всех выдали. Этот грустный факт, если Вы только исправимы, должен Вам открыть глаза и заставить Вас переменить систему.

Как же морализировать этот мир? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силой которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание вашей пропаганды. Ближайшая цель ее – создание тайной организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народо-вспомогательную силу и сделаться практической школой нравственного воспитания для всех членов.

Прежде всего определим ближе цель, значение и назначение этой организации. В моей системе, как я уже несколько раз заметил выше, она не должна составлять революционной армии – у нас должна быть только одна революционная армия – народ, – организация должна быть лишь штабом этой армии, организатором не своей, а народной силы, посредницей между народным инстинктом и революционной мыслью. А революционная мысль только потому и революционна, жива, действительна, истинна, что она выражает и только поскольку она формирует народные инстинкты, выработанные историей. Стремиться навязать народу свою мысль, простую [неразборчиво] или чуждую его инстинктам, – значит хотеть поработить его новому государству. Поэтому организация, хотящая искренно только освобождения народной жизни, должна принять программу, которая была бы полнейшим выражением народных стремлений. Мне кажется, что программа, изображенная в первом номере «Народного дела»[8], вполне соответствует этой цели. Она не навязывает народу никаких новых постановлений, порядков, форм жизни, а только разнуздывает его волю и дает широкий простор его самоопределению и его экономически-социальной организации, которая должна быть создана им самим, снизу вверх, а не сверху вниз. Организация должна нелицемерно проникнуться мыслью, что она слуга, помощник, отнюдь же не повелитель народа, а также и не распорядитель над ним, ни в каком случае и ни под каким предлогом, ни даже под предлогом народного блага.

Организации предстоит огромная задача: не только приготовить торжество революции народной посредством пропаганды и сплочения народных сил; не только разрушить до

конца силой этой революции весь ныне существующий экономический, социальный и политический порядок вещей; но еще, пережив самое торжество революции, на другой день народной победы сделать невозможным установление какой бы то ни было государственной власти над народом – даже самой революционной, по-видимому, даже вашей, – потому что всякая власть, как бы она ни называлась, непременно образом подвергла бы народ старому рабству в новой форме. Поэтому организация наша должна быть довольно крепка и живуча, чтобы пережить первую победу народа, – а это совсем нелегкое дело, – должна быть так глубоко проникнута своим началом, чтобы можно было надеяться, что даже посреди самой революции она не изменит ни мыслей, ни характера, ни направления. В чем же должно будет состоять это направление? Что будет главной целью и задачей организации? Помочь народу самоопределиться на основании полнейшего равенства и полнейшей и всесторонней человеческой свободы, без малейшего вмешательства какой бы то ни было, даже временной или переходной, власти, то есть без всякого государственного посредства.

Мы отъявленные враги всякой официальной власти – будь она хоть распререволюционная власть, враги всякой публично признанной диктатуры, мы – социально-революционные анархисты. Но если мы анархисты, спросите Вы, каким правом хотим мы и каким способом будем мы действовать на народ? Отвергая всякую власть, какой властью или, вернее, какой силой будем мы сами руководить народной революцией? Невидимой, никем не признанной и никому не навязывающейся силой, коллективной диктатурой нашей организации, которая будет именно тем могущественнее, чем более она останется незримой и непризнанной, чем более она будет лишена всякого официального права и значения.

Вообразите себя посреди торжества стихийной революции в России. Государство и вместе с ним все общественно-политические порядки сломаны. Народ весь встал, взял все, что ему понадобилось, и разогнал всех своих супостатов. Нет более ни законов, ни власти. Взбунтовавшийся океан изломал все плотины. Вся эта далеко не однородная, а, напротив, чрезвычайно разнородная масса, покрывающая необъятное пространство всероссийской империи всероссийским народом, начала жить и действовать из себя, из того, что она есть в самом деле, а не из того более, чем ей было приказано быть, везде по-своему, – повсеместная анархия. Взбаламученная грязь, которой огромное количество накопилось в народе, всплывает вверх; является на разных пунктах множество новых лиц, смелых, умных, бессовестных и честолюбивых, которые, разумеется, стремятся, каждый по-своему, овладеть народным доверием и направить его к своей личной пользе. Люди эти сталкиваются, борются, уничтожают друг друга. Кажется, ужасная и безвыходная анархия.

Но представьте себе посреди этой всенародной анархии тайную организацию, разбросившую своих членов мелкими группами по целому пространству империи, но тем не менее крепко сплоченную, одушевленную единой мыслью, единой целью, применяемую везде, разумеется, сообразно обстоятельствам и везде действующую по тому же самому единому плану. Эти мелкие группы, никем не знаемые как такие, не имеют никакой официально признанной власти. Но, сильные своей мыслью, выражающей самую суть народных инстинктов, хотений и требований, своей ясно сознанной целью, посреди толпы людей, борющихся без всякой цели и без всякого плана, сильные, наконец, тою тесною солидарностью, которая связывает все темные группы в одно органическое целое, сильные

умом и энергией членов, составляющих их и успевших создать вокруг себя круг людей, более или менее преданных той же мысли и подчиненных натурально их влиянию, – эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народным движением наперекор всем честолюбивым лицам, разъединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полной народной свободы. Вот что я называю коллективной диктатурой тайной организации.

Эта диктатура чиста от всякого корыстолюбия, тщеславия и честолюбия, потому что она безлична, невидима и не доставляет ни одному из лиц, составляющих группы, ни самим группам ни выгоды, ни чести, ни официального признания власти. Она не угрожает свободе народа, потому что, лишённая всякого официального характера, она не становится, как государственная власть, над народом и потому что вся ее цель, определенная ее программой, состоит в полнейшем осуществлении народной свободы.

Такая диктатура отнюдь не противна свободному развитию и самоопределению народа, равно как и организации его снизу вверх, сообразно его собственным порядкам и инстинктам, потому что она исключительно действует на народ только натуральным личным влиянием своих членов, не облеченных ни малейшей властью, разбросанных невидимой сетью во всех областях, уездах и общинах и в согласии друг с другом старающихся, каждый на своем месте, направить стихийно-революционное движение народа к общему наперед сговоренному и твердо определенному плану. Этот план, план организации народной свободы, во-первых, должен быть довольно твердо и ясно начерчен в своих главных началах и целях, для того чтобы исключить всякую возможность недоразумения и блуда со стороны членов, которые будут призваны содействовать его исполнению. А во-вторых, он должен быть достаточно широк и естественен для того, чтобы объять и принять в себя все неотвратимые видоизменения, вытекающие из разных обстоятельств, все разнообразные движения, происходящие из разнообразия народной жизни.

Итак, весь вопрос состоит теперь в том, как организовать из элементов, нам доступных и известных, такую тайную коллективную диктатуру и силу, которая могла бы, во-первых, в настоящее время повести широко народную пропаганду, пропаганду, действительно проникающую в народ, и силою этой пропаганды, а также и организацией в самом народе совокупить разрозненные силы народа в такое могущество, способное сломать государство, и которая, во-вторых, могла бы сохраниться посреди самой революции, не распалась бы и не изменила бы своему направлению на другой день народной свободы.

Такая организация, в особенности же основное ядро этой организации, должно быть составлено из людей самых крепких, самых умных и по возможности знающих, то есть опытно-умных, самых страстно, непоколебимо и неизменно преданных людей, которые, отрешившись, по возможности, от всех личных интересов и отказавшись один раз навсегда, на всю жизнь, по самую смерть от всего, что прельщает людей, от всех материально-общественных удобств и наслаждений и от всех удовлетворений тщеславия, чинолюбия и славолубия, были бы единственно и всецело поглощены единой страстью всенародного освобождения; людей, которые отказались бы от личного исторического значения при

жизни и даже от исторического имени после смерти.

Такое полное самоотречение возможно только при страсти. Вы не произведете его сознанием абсолютного долга, но еще менее системой внешнего контроля, опутывания и принуждения. Только одна страсть может произвести в человеке такое чудо, такую мощь без усилия. Откуда же берется и как образуется такая страсть в человеке? Она берется из жизни и образуется совокупным действием мысли и жизни; отрицательно, как ненавистный протест против всего существующего и гнетущего; положительно же, в обществе одномыслящих и одинаково чувствующих людей, как коллективное создание нового идеала; причем надо заметить, что эта страсть тогда только действительна и спасительна, когда в ней в одинаковой мере и тесно связаны обе стороны – отрицательная и положительная. Одна отрицательная страсть, ненависть, ничего не создает; не создает даже силы, необходимой для разрушения, а следовательно, ничего и не разрушит; одна положительная ничего не разрушит, а так как создание нового невозможно без разрушения старого, также и ничего не создает, оставаясь всегда доктринерским мечтанием или мечтательным доктринерством.

Страсть, глубокая, неискоренимая и непоколебимая страсть, значит, – основа всему. В ком ее нет, будь он семи пядей во лбу, будь он человек самый честный, тот не в силах будет выдержать до конца борьбы против страшного общественно-политического могущества, нас всех подавляющего, не в силах будет устоять против всех трудностей, невозможностей, а главное, против всех разочарований, которые ожидают и непременно встретят его в этой неравной и ежедневной борьбе; у человека без страсти не будет ни силы, ни веры, ни инициативы, не будет отваги, а без отваги такое дело не делается. Но одной страсти мало, страсть порождает энергию; но энергия без разумного руководства бесплодна, нелепа. Вместе со страстью необходим, поэтому, также разум холодный, расчетливый, реальный, практический прежде всего, но вместе теоретический, воспитанный и знанием, и опытом, широко объемлющий, но не упускающий также из виду никаких подробностей, способный понимать и различать людей, схватывать действительность отношения и условия общественной жизни во всех слоях и проявлениях, в их настоящем виде и смысле, а не мечтательно и не произвольно, как это делает довольно часто мой приятель, а именно Вы. Потребно, наконец, положительное знание и России, и Европы, и настоящего социального и политического положения и настроения и той и другой. Значит, самая страсть, оставаясь все-таки и всегда основным элементом, должна руководиться разумом и знанием, должна перестать пороть горячку, не утратив своего внутреннего пламени, своей горячей непреклонности, сделаться холодной и тем сильнейшей страстью.

Вот Вам идеал заговорщика, призванного быть членом ядра тайной организации.

Вы спросите, да где же взять таких людей, разве их в России, да и в целой Европе много? В том-то и дело, что в моей системе их совсем не требуется много. Помните, что Вам не нужно будет создавать армию, а только штаб революции. Таких людей, уже почти совсем готовых, Вы найдете, может быть, десять, а людей, способных сделаться такими и уже готовящихся ими сделаться, по крайней мере человек 50, 60, – и за глаза довольно. Вы сами, по моему глубокому убеждению, несмотря на все промахи, печальные и вредные ошибки, несмотря на отвратительный ряд пошлых и глупых обманов, в которые Вас вовлекла только ложная

система, отнюдь же не личное честолюбие, тщеславие и корыстолюбие, как многие слишком многие начинают думать о Вас, Вы, с которым я буду обязан и решился разойтись, если Вы не откажетесь от этой системы, – Вы сами принадлежите к числу этих редких людей. И вот единственная причина моей любви к Вам, моей веры в Вас помимо всего и моей долготерпимости с Вами, долготерпимости, которой, однако, пришел конец. Помимо всех ваших страшных недостатков и недомыслей, я признал и продолжаю признавать в Вас человека умного, сильного, энергичного, способного к холодному расчету, хотя по неопытности и по незнанию и часто ложному разумению, совершенно отрешенного от себя и страстно и всецело преданного и отдавшегося делу народного освобождения. Бросьте Вы свою систему, и Вы сделаетесь человеком драгоценным; если Вы не захотите бросить ее, Вы сделаетесь несомненно деятелем вредным и в высшей степени разрушительным не для государства, а для дела свободы. Но я крепко надеюсь на то, что все последние происшествия в России и за границу открыли Вам глаза и что Вы захотите, поймете необходимость подать нам руку на искренних основаниях. Тогда, повторю еще, мы Вас признаем за драгоценного человека и с радостью признаем Вас за своего предводителя по всем русским делам. Но если Вы таковы, то, без сомнения, найдутся в России по крайней мере десять человек, подобных Вам. Если они не отысканы, поищите и найдете, и заложите с нами новое общество на следующих основаниях и взаимных условиях.

1. Полное, целостное и страстное признание вышеупомянутой программы в «Народном деле» с теми дополнениями и объяснениями, которые покажутся Вам необходимыми.
2. Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность – один за всех, все за одного – с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожения существование самого общества.
3. Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов, отсутствие и положительный строгий запрет всех пересуживаний за спиной. Когда один член имеет что-нибудь сказать против другого члена, тот должен сделать это в общем собрании, в его присутствии. Общий братский контроль всех над каждым, контроль отнюдь не привязчивый, не мелочной, а главное, не злостный, должен заменить вашу систему иезуитского контролирования и должен сделаться нравственным воспитанием и опорой для нравственной силы каждого члена; основанием взаимной братской веры, на которой зиждется вся внутренняя, а потому и внешняя сила общества.
4. Из общества исключаются все люди слабонервные, боязливые, тщеславные и честолюбивые. Они могут служить, незнаемо для себя, орудием общества, но отнюдь не должны быть в ядре организации.
5. Вступая в общество, всякий член обрекает себя навсегда на общественную неизвестность и незначительность. Вся энергия и весь ум его принадлежат обществу и должны быть устремлены не на создание себе своей личной общественной силы, а коллективной силы организации. Каждый должен быть убежден, что личное обаяние и бессильно, и бесплодно и что только коллективная сила может повалить общего врага и достигнуть общей положительной цели,

поэтому в каждом члене личные страсти должны же мало-помалу замениться коллективной страстью.

6. Личный разум каждого теряется, как река в море, в разуме коллективном, и все члены повинуются безусловно решениям последнего.
7. Все члены равноправны, знают всех товарищей своих и вместе со всеми обсуждают и решают все главные существенные вопросы, касающиеся программы общества, равно как и общего хода дела. Решение общего собрания – абсолютный закон.
8. Каждый член имеет, в сущности, право знать все. Но праздное любопытство исключается из общества, равно как и бесцельные разговоры о делах и целях тайного общества. Зная общую программу и общее направление дела, ни один член не спрашивает, не старается узнать о подробностях, не нужных для лучшего исполнения той части дела, которая будет специально на него возложена, и без практической нужды не будет говорить ни с одним товарищем о том, что ему поручено сделать.
9. Общество из среды своей избирает исполнительный комитет из трех или пяти членов, который на основании программы и общего плана действий, принятых решением целого общества, должен организовать разветвление общества и руководить его деятельностью во всех областях империи.
10. Комитет этот выбирается бессрочно. Если общество – я буду называть его Народным братством[9], – итак, если Народное братство довольно действиями комитета, оно оставляет его на месте, и до тех пор, как он остается на месте, каждый член Народного братства и каждая областная группа должны повиноваться комитету безусловно, исключая тех случаев, когда предписания комитета будут противоречить или общей программе, или основным правилам, или общему революционному плану действий, всем известным, потому что все братья равно участвовали при их обсуждении и постановлении.
11. В таком случае члены и группы должны приостановить исполнение комитетских предписаний и призвать комитет на суд перед общим народно-братским собранием. Если общее собрание недовольно комитетом, оно всегда может заменить его другим комитетом.
12. Всякий член, равно как и всякая группа могут быть судимы общим собранием Народного братства.
13. Так как каждый брат знает все, знает даже личный состав комитета, то принятие нового члена в среду должно быть сопряжено с самой большой осторожностью, затруднениями и препятствиями – один плохой выбор может погубить все. Ни один новый брат не может быть принят иначе как с согласия всех или, по крайней мере, и никак уже не меньше трех четвертей членов всего Народного братства.
14. Комитет распределяет членов братства по областям и составляет из них областные группы или начальства. Может быть, такое начальство вследствие недостаточного числа членов будет состоять из одного брата.
15. На областное начальство возлагается обязанность образования второй степени общества – областного братства, на основании той же программы, тех же правил и того же революционного плана.
16. Все члены областного братства знают друг друга, но не знают существования Народного братства. Им только известно, что существует центральный комитет, который передает им свои предписания для исполнения через комитет областной,

им же самим, то есть центральным комитетом, установленный.

17. Областной комитет состоит, по возможности, только из народных братьев, назначенных и сменяемых ЦК, но, по крайней мере, из одного народного брата. В таком случае этот брат с согласия ЦК присоединяет к себе двух самых лучших членов областного братства и составляет с ними вместе комитет областной, уж не на равных правах всех членов его, потому что народный брат только один имеет сообщение с ЦК, предписания которого он передает своим товарищам областного комитета.
18. Народный брат или народные братья, находящиеся в области, высматривают в областном братстве людей, способных и достойных быть принятыми в Народное братство и представляет их через ЦК общему собранию Народного братства.
19. Всякий областной комитет устанавливает уездные комитеты из членов областного братства, назначаемых и сменяемых им самим.
20. Уездные комитеты могут, если понадобится, но не иначе, как с согласия областного комитета, основать третью степень организации – уездное братство, с программой и регламентами, наиболее приближающимися к общей программе и регламенту Народного братства. Программа и регламент уездного братства не войдут в силу, пока не будут обсуждены и приняты в общем собрании областного братства и не получат подтверждения областного комитета.
21. Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех трех степеней тайной организации: точно так же из уездного и областного, как и из Народного братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, на взаимном доверии и на открытом братском контроле всех над каждым.

Вот Вам в главных чертах план общества, так, как я его понимаю. Разумеется, этот план должен быть развит, дополнен, иногда видоизменен сообразно обстоятельствам и характеру среды и определен гораздо яснее. Но я убежден, что сущность его должна остаться, если Вы хотите создать действительную коллективную силу, способную служить делу народного освобождения, а не новую эксплуатацию народа.

Система опутывания и иезуитской лжи из этого плана исключены совершенно, как вредные, расторгающие и развращающие начала и средства. Но исключены также и парламентская болтовня, и тщеславная суетливость и сохранена строгая дисциплина всех членов в отношении к комитетам и всех частных комитетов в отношении к ЦК. Суд и контроль над членами принадлежит братствам, а не комитетам. Но вся исполнительная власть в руках комитетов. Суд же над комитетами, не исключая Центрального, принадлежит лишь одному Народному братству.

Народное братство, по моему плану, никогда не будет заключать в себе более 50-70 членов. Сначала, пожалуй, оно будет состоять из 10 человек, даже менее, и будет медленно расширяться, принимая в свою среду человека за человеком, подвергая каждого предварительно самому строгому, самому тщательному изучению, и, если будет возможно, принимать его не иначе, как по единодушному решению всех членов Народного братства

или же никак не менее 3/4 братства. Не может быть, чтобы в продолжение года, двух-трех лет не нашлось 30 или 40 человек, способных быть народными братьями.

Итак, вообразите себе Народное братство для целой России, состоящее из 40, много из 70 членов. Потом несколько сотен членов двух степенной организации братьев областных, и Вы покроете действительной могучей сетью целую Россию. Штаб ваш создан, и, как сказано, в нем приготовлены вместе со строгой осторожностью и с исключением всей болтовни и всех тщеславных пустозвонных парламентских прений истина, искренность и взаимное доверие, действительная солидарность как едино морализирующие и соединяющие элементы.

Все общество составляет одно тело и прочно связанное целое, предводительствуемое ЦК и ведущее непрестанную подземную борьбу против правительства и против других обществ, или ему враждебных, или даже действующих вне его. А где война, там политика, там поневоле является необходимость насилия, хитрости и обмана.

Общества, близкие по цели к нашему обществу, должны быть принуждены к слиянию с ним или, по меньшей мере, должны быть подчинены ему без своего ведома и с удалением из них всех вредных личностей; общества противные и положительно вредные должны быть расторгнуты – правительство наконец уничтожено. Всего этого одной пропагандой истины не сделаешь – необходима хитрость, дипломатия, обман. Тут место и иезуитизму, и даже опутыванию; опутывание – необходимое и великолепное средство для того, чтобы деморализовать и уничтожить врага; отнюдь не [10] полезное средство для того, чтобы приобрести и привлечь к себе нового друга.

Итак, в основании всей нашей деятельности должен лежать этот простой закон: правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении к каждому человеку, который способен быть и которого Вы бы желали сделать братом; ложь, хитрость, опутывания, а по необходимости и насилие – в отношении к врагам. Таким образом Вы будете морализировать, укреплять, теснее связывать своих и расторгать связи и разрушать силы других.

Вы же, мой милый друг, – и в этом состоит главная, громадная ошибка, – Вы увлеклись системою Лойолы и Макиавелли, из которых первый предполагал обратить в рабство целое человечество, а другой создать могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, следовательно, – также народное рабство, – влюбившись в полицейски-иезуитские начала и приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать душу, и душу всего вашего общества, – вследствие чего поступаете с друзьями, как с врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже поссорить между собою, дабы они не могли соединиться против вашей опеки, ищите силы не в их соединении, а разъединении и, не доверяя им нисколько, стараетесь заручиться против них фактами, письмами, нередко Вами без права прочитанными или даже уворованными, и вообще их всеми возможными способами опутать так, чтобы они были в рабской зависимости у Вас. И к тому же Вы делаете это так неуклюже, так [неразборчиво], так неловко и неосторожно, так опрометчиво и необдуманно, что все ваши обманы, коварства и хитрости в самое короткое время выходят наружу. Вы так

влюбились в иезуитизм, что забыли все другое, забыли даже ту цель, то страстное желание народного освобождения, которые привели Вас к нему. Вы так влюбились в иезуитизм, что готовы проповедовать необходимость его всякому, даже Жуковскому, хотели даже печатать о нем, пополнить его теориями «Колокол» – как бы в пословицу Суворова: «Помилуй Бог, тот не хитер, про которого все знают, что он хитер». Одним словом, Вы стали играть в иезуитизм, как ребенок в цацку; как Утин в Революцию.

Посмотрим же теперь, чего Вы достигли и что успели сделать в Женеве благодаря вашей иезуитской системе. Вам отдали Бахметьевский фонд[11]. Вот единственный существенный результат, достигнутый Вами. Но Огарев Вам отдал его, и я горячо советовал отдать его Вам не потому, что Вы иезуитничали с ним, а потому, что мы оба, помимо вашего далеко немудреного иезуитизма, чувствовали и признавали в Вас человека глубоко, горячо и серьезно преданного русскому делу. Но, знаете ли, – это с моей стороны горькое признание – я почти начинаю каяться в том, что советовал Огареву отдать Вам фонд – не потому, чтобы я мог подумать, чтобы Вы могли употребить его бесчестно, в свою личную пользу, – от такой подлой и просто нелепой мысли все святые меня упаси, и, хоть убили бы меня, я никогда не поверю, чтобы Вы употребили хоть один лишний грош на себя – нет, я начинаю каяться в том, потому что, глядя на все ваши действия, я перестал верить в вашу политическую зрелость, в серьезность и в действительность вашего Комитета и всего общества вашего. Сумма небольшая, но единственная, и она пропадет даром, бесполезно, бесстыдно в безумных и невозможных усилиях.

А с этой небольшой суммой в руках и с помощью небольшого числа людей, встретивших Вас с полной искренностью и изъявивших Вам готовность служить общему делу без всяких требований и претензий, без тщеславия и честолюбия, Вы могли сделать много полезного в Женеве – могли создать орган серьезный, с откровенной социально-революционной программой и при нем заграничное бюро для ведения русских дел вне России и в известном, хотя и неабсолютном, но положительном [неразборчиво] ему. С этой целью ваш Комитет, то есть Вы, приглашали меня в первый раз в Женеву. И что же я нашел в Женеве? Во-первых, исковерканную программу «Колокола», от которого Комитет и Вы требовали просто нелепости, невозможности. Знаете ли, что я не могу простить себе слабости, побудившей уступить Вам в этом вопросе – мне приходится отвечать за этот несчастный «Колокол» и за солидарность с Вами вообще перед всеми моими интернациональными друзьями благодаря, с одной стороны, Утину, а с другой – Жуковскому, из которых первый злобно, а другой добродушно клеветают на меня и на Вас.

Кстати, о Жуковском. Вы на нем показали ваше совершенное незнание, непонимание людей и вашу неспособность привлекать их прямым, честным, то есть крепким способом к вашему делу. Зная его отлично, я Вам подробно описал его характер, его способности и неспособности, так что Вам должно было быть нетрудно поставить его в серьезное отношение с Вами. Я Вам описал его как человека очень доброго, способного, далеко не глупого, хотя и без всякой инициативы в уме, но принимающего все мысли из второй руки и способного их популяризировать или разбалтывать довольно красноречиво, не столько на бумаге, сколько в разговоре, артистически впечатлительного, довольно упорно преданного известному направлению, но бесхарактерного, в том смысле, что он опасностей не любит, перед сильным противоречием [неразборчиво] и легко поддается самым разнообразным

влияниям. Одним словом, как человека, весьма способного служить проводником пропаганды, но отнюдь не способного быть членом тайного общества. Вы должны бы были поверить мне, но не поверили и вместо того, чтобы привлечь Жуковского к нашему делу – оттолкнули его от себя и от меня. Вы старались его завербовать, опутать и, опутав, сделать своим рабом. Для этого Вы стали бранить меня, смеяться надо мной – а в Жуковском есть инстинкт честности, который взбунтовался. Он мне рассказал все, что Вы ему обо мне говорили, рассказал с негодованием, с омерзением, и, если бы я был посамолюбивее и послабее, этого могло бы быть достаточно, чтобы разорвать мою связь с Вами. Вы помните, я довольствовался тем, что повторил Вам все слова Жуковского, без примечаний, но, верно – Вы не отвечали ничего, и я не считал нужным продолжать далее этот разговор. Потом Вы стали излагать Жуковскому свои заветные теории, государственно-коммунистические и полицейско-иезуитские, и тем окончательно оттолкнули его от себя. Наконец, произошла эта несчастная сплетня Генриха[12], и Жуковский сделался вашим отъявленным и непримиримым врагом, врагом не только вашим, но чуть ли также и не моим. А он мог бы, несмотря на все свои слабости, быть полезным.

Признаюсь также, мой милый друг, что вся ваша система шантажирования, опутывания и запугивания Таты[13] мне чрезвычайно не нравилась – я несколько раз высказал Вам все; вышло то, что Вы в ней поселили глубокое недоверие к нам всем и убеждение, что Вы и я намерены эксплуатировать денежные средства, эксплуатировать, разумеется, не для дела, а для себя. Тата, в глубоком смысле этого слова честный и правдивый человек, лишенная, мне кажется, способности отдать себя всецело кому или чему бы то ни было, поэтому дилетант если не по натуре, то по восприятию, – дилетант и в умственном, и нравственном отношении, но на честное слово которой можно положиться и которая может сделаться если не нашим другом, то верным приятелем. С ней надо было поступать прямо и честно и не прибегая к тем ухищрениям, в которых Вы думаете найти свою силу, но в которых проявляется именно ваша слабость. До тех пор, пока я полагал возможным и полезным говорить с ней прямо, откровенно, действуя на ее свободное убеждение, я делал это. Далее я с Вами идти не хотел, мне это было противно. И лишь только я услышал от Вас, что Наталья Алексеевна[14] клеветает на меня, утверждая, что я имею виды на карман Таты, и увидел, что сама Тата недоумевает, не зная, справедливо ли это или нет, я решительно от нее оттолкнулся.

А кстати, Вы мне утверждали несколько раз, что Вы слышали от самой Таты, что Наталья Алексеевна и Тхоржевский везде кричат, всем говорят и пишут, что я хочу эксплуатировать денежные средства Таты. Наталья Алексеевна и Тхоржевский утверждают, напротив, что они никогда этого не писали и не говорили, – и сама Тата подтвердила мне то же самое. В последнюю бытность в Женеве Вы мне сказали, что Вы слышали от Серебренникова, что Жуковский говорил ему, Серебренникову (Семену), что я эксплуатирую Тату. Я спрашивал Серебренникова и узнал от него, что Жуковский говорил это не обо мне, а о Вас. Вы мне рассказывали также, что жена Жуковского уговаривала Вас присоединиться к Утину, уверяя, что соединение со мной бесполезно, невозможно, вредно. Она говорила напротив: обо мне с Вами не говорила; к Утину, с которым она сама разошлась более или менее, Вас не звала и что не она, а Вы ей предложили искать средства для соединения, и что она ждала от Вас этих средств.

Вы видите, сколько ненужной глупой лжи, и как она легко выходит наружу. Да, признаюсь, что уж первый приезд мой в Женеву уже сильно разочаровал меня и пошатнул мою веру в возможность крепкой связи и дела с Вами. К тому же о деле, для которого я, собственно, был призван и единственно для которого я приехал в Женеву, между нами не было сказано ни одного дельного слова. Я несколько раз начинал разговор о заграничном бюро, Вы избегали его; все ждали какого-то окончательного ответа от Комитета, который никогда не приходил. Я, наконец, уехал, написав через Вас Комитету письмо, в котором требовал ясного определения и изложения дела, к которому был призван, и с твердым решением не возвращаться в Женеву, прежде чем не получу от него удовлетворительного ответа.

В мае Вы опять стали вызывать меня в Женеву. Несколько раз я отказывался ехать, наконец, поехал. Последняя поездка утвердила во мне все сомнения и совершенно потрясла мою веру в честность, в правдивость вашего слова. Ваши разговоры с Лопатиным в моем присутствии, в самый вечер моего приезда, его прямые, резкие обвинения, высказанные Вам в глаза с тоном уверенности, которая не допускает даже возможности сомнения в истине их слов, – слов, делавших все ваши слова ложью, – его прямое отрицание всех подробностей рассказа, напечатанного Вами о вашем бегстве, его прямые обвинения против самых близких друзей ваших, обвинения в подлой и даже глупой измене перед следственной комиссией, обвинения не голословные, но основанные на их письменных показаниях, которые, по его уверению, подтвержденному мне потом Вами самим, он имел случай читать; особенно выраженное им презрение к поступкам и проделкам и совершенно ненужным доносам Прыжова, о котором Вы мне везде говорили как об одном из лучших и крепких друзей ваших. Наконец, прямое и решительное отрицание его существования вашего Комитета, высказанное им такими словами: «Нечаев мог рассказывать это Вам, живущим вне России. Но он не попытается повторить все это Вам в моем присутствии, зная очень хорошо, что мне известны все кружки, все люди, и все отношения и факты в России. Вы видите, что он молчанием своим подтверждает истину всего того, что я говорю и об его бегстве, которого малейшие обстоятельства и подробности, как он сам знает, мне слишком хорошо известны, а также и об его друзьях, и об его мнимом Комитете»; и Вы действительно на все это отвечали молчанием и не попробовали даже защищать не только себя, но даже ни одного из друзей ваших, ни даже действительность существования вашего Комитета.

Он торжествовал, Вы перед ним пасовали. Я не могу Вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшею ложью, было основано на песке. Значит, ваш Комитет – это Вы, Вы, по крайней мере, на три четверти с хвостом, состоящим из двух, трех-четырёх человек, Вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось как дым вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше ваших друзей. Я Вас глубоко любил и до сих пор люблю, Нечаев, я крепко, слишком крепко в Вас верил, и видеть Вас в таком положении, в таком унижении перед говоруном Лопатиным было для меня невыразимо горько.

Мне было тяжело и за себя также. Увлеченный верой в Вас, я отдал Вам свое имя и публично связал себя с вашим делом. Я всеми силами старался укрепить в Огареве симпатию к Вам и

веру в ваше дело. Я постоянно советовал ему отдать Вам весь фонд. Я привлек к Вам Озерова и употребил все усилия, чтобы убедить Тату соединиться с нами, то есть с Вами, и отдаться вполне вашему делу. Наконец, против своего лучшего убеждения я уговорил Огарева согласиться на издание «Колокола» по выдуманной Вами дикой, невозможной программе. Одним словом, веря в Вас безусловно, в то время как Вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком – это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет, – хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и интернациональному делу.

Когда Лопатин ушел, я Вас спросил: неужели он говорил правду, неужели все, что Вы мне говорили, была ложь? Вы избегали ответа. Было поздно, я ушел. Все разговоры и переговоры с Лопатиным на другой день окончательно убедили меня в том, что Лопатин говорил правду. Вы молчали; я ждал результата вашего последнего разговора с Лопатиным; Вы мне его не сказали; но я узнал его теперь из письма Лопатина, которое Вам будет прочтено Озеровым.

Того, что я узнал, было для меня достаточно для того, чтобы принять меры против дальнейшего эксплуатирования себя и друзей моих Вами, вследствие чего я написал Вам ультиматум, который наскоро прочитал Вам у турок[15] и который Вы, казалось, приняли. С тех пор мы с Вами не видались.

Наконец, я получил 3-го дня письмо от Лопатина, из которого узнал два весьма грустные факта. Во-первых, Вы (не хочу употреблять прилагательных), Вы солгали, передавая мне ваш разговор с Лопатиным. Все, что Вы мне передали из слов, будто бы сказанных им, – чистая ложь. Он не говорил Вам, что я отдал ему письма Любавина: «Старик не выдержал, теперь он в наших руках, теперь он ничего против нас сделать не может, а мы всё...»; на что Вы будто бы отвечали ему: «Если Бакунин имел слабость отдать Вам письма Любавина, то у нас есть еще другие письма» – и так далее. Вы солгали, Вы наклеветали на Лопатина, Вы сознательно надули меня; Лопатин удивляется, что я Вам поверил, и в учтивой форме выводит из этого факта заключение не совсем выгодное для моих умственных способностей. Он прав, в этом случае я оказался круглым дураком. Но он судил бы обо мне не так строго, если бы он знал, как глубоко, как страстно, как нежно я Вас любил и Вам верил! Вы умели, нашли полезным убить во мне эту веру, тем хуже для Вас. К тому же мог ли я подумать, чтобы человек умный и преданный делу, каким Вы остаетесь в моих глазах до сих пор и несмотря на все случившееся, – мог ли я подумать, чтобы Вы могли так нагло и так глупо лгать передо мной, в преданности которого Вы не могли сомневаться? Как Вам не пришла мысль, что Вам ваша наглая ложь выйдет наружу и что я потребую, что я должен был требовать объяснения у Лопатина, тем более что в моем ультиматуме было ясно высказано требование приведения в полную ясность дела с Любавиным.

Другой факт: Любавин не получил моего ответа на его дерзкое письмо, не получил поэтому также и расписки, приложенной мною к этому ответу. Когда я показал Вам свой ответ и расписку, Вы просили меня помедлить и не посылать их. Я не согласился, тогда Вы взялись бросить их на почту и не бросили.

* * *

Всего этого довольно, Нечаев, – старые отношения и взаимные обязательства наши кончились. Вы сами разрушили их. Если думали и думаете, что Вы связали, опутали меня в нравственном и в материальном отношении, то Вы ошибаетесь жестоко. Ничто в мире не может связать меня против моей совести, против моей чести, против моей воли, против моего революционного разума и долга.

Правда, что в финансовом отношении я, благодаря Вам, нахожусь теперь в положении самом тяжелом. Средств к жизни нет, и единственный источник доходов, перевод Маркса[16] и сопряженная с ним надежда на другие литературные работы, – теперь для меня иссяк. Я сижу на мели – и не знаю, как снимусь с нее, но это последнее дело.

Правда, что я компрометировал друзей и компрометирован перед ними; правда, что на меня сыплются клеветы по поводу фонда, по поводу любавинской истории, по поводу Таты и, наконец, по поводу всех последних происшествий в России.

Но все это не остановит меня; в случае крайней нужды я готов принести публичное признание и покаяние в своей глупости, от которой мне, разумеется, будет очень стыдно, но от которой еще менее поздоровится Вам, но невольным союзником вашим не останусь.

Итак, я объявляю Вам решительно, что все до сих пор порочные отношения мои с Вами и с вашим делом разорваны. Но, разрывая их, я предлагаю Вам новые отношения на иных основаниях.

Лопатин, не знающий Вас так, как я Вас знаю, удивился бы такому предложению с моей стороны после всего, что между нами случилось. Вы не удивитесь, ни близкие друзья мои не удивятся также.

Не подлежит сомнению, что Вы наделали много глупостей и много гадостей, положительно вредных и разрушительных для самого дела. Но несомненно для меня также и то, что все ваши нелепые поступки и страшные промахи имели источником не ваши личные интересы, не корыстолюбие, не славолубие и не честолюбие, а единственно только ложное понимание дела. Вы – страстно преданный человек; Вы – каких мало; в этом ваша сила, ваша доблесть, ваше право. Вы и Комитет ваш, если последний действительно существует, полны энергии и готовности делать без фраз все, что Вы считаете полезным для дела, – это драгоценно. Но ни в Комитете вашем, ни в Вас нет разума – это теперь несомненно. Вы как дети, схватились за [неразборчиво] иезуитскую систему и, увидев в ней всю силу вашу, успех и спасение, позабыли в ней даже самую суть и цель общества: освобождение народа не только от правительства, но и от Вас самих. Приняв эту систему, Вы довели ее до уродливо-глупой крайности, развратили ей себя и опозорили ей общество на весь мир рядом белыми нитками шитых хитростей и непроходимых глупостей, подобных вашим грозным письмам к Любавину, к Наталье Алексеевне, [неразборчиво] шедших с вашей любезной долготерпеливостью с Утиным, с вашими заискиваниями у него в то время, как он громко, нахально клеветал на нас всех; подобных вашей глупой коммунистической программе и целым рядом бесстыдных обманов. Все это доказывает огромное отсутствие разума, знания и понимания людей, отношений и вещей. Значит, на ваш разум, по крайней мере теперь, положиться невозможно, несмотря на то, что Вы – человек чрезвычайно умный и способный

к далекому развитию, – но это дает надежду на будущее, в настоящем Вы оказались неловки и нелепы, как мальчик.

Убедившись окончательно в этом, я нахожусь теперь в следующем положении.

Вашим словам, вашим голословным уверениям и обещаниям без подтверждения фактами я теперь решительно не верю, зная, что Вам ничего не стоит солгать, если это Вам покажется полезным для дела. Не верю тоже в справедливость или разумность того, что Вам показаться может, потому что Вы и Комитет ваш дали мне слишком много доказательств своей положительной неразумности. Но, отрицая вашу правдивость и вашу разумность, я не только не отрицаю вашей энергии и вашей безусловной преданности делу, но думаю, что в отношении к той и другой мало найдется в России людей, равных Вам; это, повторяю Вам еще раз, было главной, да, единственной основой моей любви к Вам и моей веры в Вас – и до сих пор остается в моем убеждении залогом того, что Вы более всех других мне знакомых русских людей способны и призваны служить революционному делу в России, – разумеется, только под тем условием, что Вы захотите и сможете переменить всю систему своих действий в России и за границей. Если же Вы не захотите переменить ее, Вы именно вследствие этих качеств, составляющих вашу силу, сделаетесь непременно человеком в высшей степени вредным для дела.

Вследствие всех этих соображений и несмотря на все происшедшее между нами, я желал бы не только остаться в соединении с Вами, но соединиться еще теснее и крепче с Вами, разумеется, в том предположении, что Вы решительно перемените систему и положите в основание всех наших будущих отношений взаимное доверие, искренность и правду. В противном случае наш разрыв неминуем.

Теперь вот мои условия, личные и общие. Назову прежде личные.

1. Вы выгородите и очистите меня совершенно в любавинской истории, написав общее письмо к Огареву, Тате, Озерову и С. Серебренникову, в котором Вы сообразно истине объявите, что я о письме Комитета ничего не знал и что оно написано помимо моего знания и воли.
2. Что Вы читали мой ответ Любавину с прилагаемой к нему распиской в 300 руб. и, взявшись его отправить, бросили или не бросили на почту.
3. Что я никогда не имел ни прямого, ни косвенного вмешательства в распоряжение Бахметьевским фондом. Что Вы получили весь фонд в разные времена; сначала из рук Герцена и Огарева, а остальную большую часть из рук Огарева, который, по смерти Герцена, один имел право им распоряжаться, и что Вы приняли этот фонд от имени Комитета, которого Вы были распорядителем.
4. Если Вы не дали еще Огареву расписки в получении этого фонда, то должны дать ее.
5. Вы должны возвратить в наискорейшее время записку Даниельсона через нас и через Лопатина. Если она не в ваших руках (а я уверен, что она в ваших руках), Вы в том же письме должны взять обязательство доставить ее нам в самое короткое время.

6. Вы бросите ни к чему не ведущие, а напротив – недостойные, а для дела – положительно вредные попытки сближения и примирения с Утиным, клеветущим на нас обоих и на все ваше в России самым гнусным образом, а напротив – обяжетесь, выбрав час и удобный случай, чтоб не повредить делу, повести против него войну открыто.

Вот Вам мои личные условия; отказ в одном из них – а особенно в пяти первых и в первой половине шестого, то есть разрыв всяких отношений с Утиным, будет для меня достаточным поводом для того, чтоб разорвать все сношения с Вами. И все это должно быть сделано Вами широко, прямо, честно, без малейших недоразумений, [неразборчиво], недомолвок, намеков и экивоков. Пора нам играть в игру открытую.

Теперь вот общие условия.

1. Не называя нам ваших имен, которые нам не нужны, Вы покажете нам настоящее положение вашей организации и дела в России, ваших надежд, вашей пропаганды, ваших движений, без преувеличения и обмана.
2. Вы извергнете из вашей организации всякое применение полицейски-иезуитской системы, довольствуясь ее применять, и только в мере самой строгой практической необходимости, а главное, разума, только в отношениях к правительству и ко враждебным партиям.
3. Вы бросите нелепую мысль, что можно совершить революцию вне народа и без участия народа, и примете в основание всей вашей организации стихийную народную революцию, в которой народ будет армией, а организация только штабом.
4. Вы примете в основание организации социально-революционную программу, изложенную в первом номере «Народного дела», план организации и революционной пропаганды, изложенный мною в моем письме, с теми дополнениями и видоизменениями, которые в общем собрании мы сообща найдем необходимыми.
5. Все постановленное нашим общим обсуждением и единодушным решением будет предложено Вами всем вашим друзьям в России и за границей. Если они отвергнут наши постановления, Вы должны будете решить сами, хотите ли Вы идти с ними или с нами, разорвать свою связь с нами или с ними.
6. Если они примут выработанные нами программу, план организации, регламент общества и план пропаганды и революционного действия, Вы от их и от своего имени дадите нам руку и честное слово, что отселе эта программа, план организации, пропаганды и действий станут абсолютным законом и непременною основой для всего общества в России.
7. Мы Вам поверим и на новом основании завяжем с Вами новую, крепкую связь – Огарев, Озеров, С. Серебренников и я, а, пожалуй, и Тата, если она захочет, и если Вы и все другие согласитесь, мы будем по праву народными братьями – живущими и действующими за границей; поэтому, никогда не изъясняя никакого лишнего любопытства, будем иметь право знать и будем действовать, знать положительным образом, со всеми нужными подробностями, положение конспирационных дел и ближайших целей в России.

8. Затем мы все, вышеупомянутые, образуем заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей, сообразуясь с общими указаниями политики в России, но выбирая свободно способы, людей и средства.
9. При этом будет издаваться «Колокол» с явной революционной социалистической программой, если это окажется необходимым и, если на это будут денежные средства.

Вот Вам мои условия, Нечаев. Если уж благоразумие, дух трезвого понимания дела сошел на Вас и если любовь к делу действительно сильнее в Вас, чем все другое, – то Вы их примете.

А если не примете – решение мое непреклонно, я должен буду разорвать всякую связь с Вами и, не сообразуясь более ни с чем, кроме собственной совести, своего понимания и долга, буду действовать самостоятельно.

М. Бакунин

[1] Нечаев изображал себя в качестве представителя комитета революционного русского общества, которое фактически не существовало.

[2] Брошюра Бакунина «К офицерам русской армии», написанная в январе 1870 года, в том же году вышла в Женеве. В этой брошюре Бакунин предрекал наступление часа «последней борьбы между Романовским Гольштейн-Готторпским Государством и между русским народом», призывал создать антигосударственную «революционно-народную организацию» и организовать заговор с целью разрушения «всего сословно-государственного мира в России».

[3] Из четырех названы только трое. Четвертым знакомым Бакунина был Н. А. Спешнев.

[4] В издании 1985 года (в «Литературном наследии»): «знал», что придает некоторый новый смысл высказыванию Бакунина.

[5] Иоганн Тецель – монах и инквизитор ордена доминиканцев. Тецель получил известность распространением индульгенций, которые он продавал самым беззастенчивым образом, навязывая их, вымогая за них деньги, утверждая, что значение индульгенции превышает значение крещения, и что действуют оные в том числе на грехи будущие, помогая как живым, так и умершим людям. Средства от продажи индульгенций направлялись на финансирование строительства римской базилики Святого Петра.

[6] Возможно здесь ближе по смыслу слово «разбору» или «рассмотрению».

[7] В брошюре «Постановка революционных вопросов», вышедшей в Женеве в 1869 году без подписи, Бакунин ставит вопрос о роли молодежи как объединяющего начала в стихийных народных бунтах.

[8] Речь идет о статье «Наша программа», написанной Н. И. Жуковским и опубликованной в журнале «Народное дело» (1868. №1). Весь этот номер Бакунин считал выражением своих взглядов.

[9] Идея организации «Братства» была развита Бакуниным в «Программе Интернационального Братства» два года спустя.

[10] По сообщению М. Конфино (см.: Cahiers du monde russe et soviétique. 1966. №4. Р. 674), к этому месту Н. А. Герцен сделала примечание: «По просьбе Бакунина Семен Серебренников прибавил после в другой копии слова «отнюдь не», которые совершенно изменяют смысл этой фразы». Н. А. Герцен ошиблась. Можно согласиться с комментаторами публикации 1985 года в том, что вставленные слова подчеркивают очень важную для Бакунина мысль о допустимости «опутывания», обмана и иезуитизма по отношению к врагу и недопустимости их по отношению к друзьям.

[11] Бахметьевский фонд – средства, находившиеся в распоряжении А. И. Герцена, а после его смерти – Н. А. Огарева, предназначенные для субсидирования деятельности русских революционеров.

[12] Речь идет о Генри Сетерленде. Но неизвестно – о какой сплетне.

[13] Тата – старшая дочь А. И. Герцена Наталья

[14] Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева – вторая жена А. И. Герцена.

[15] Речь идет о вилле, на которой когда-то жила группа турок-эмигрантов.

[16] В 1869 году Бакунин взялся переводить I том «Капитала» Карла Маркса, получил за этот перевод аванс от издателя Н. П. Полякова через студента Н. Н. Любавина, но из-за того, что он затянул с переводом, работу эту поручили Г. А. Лопатину и Н. Ф. Даниельсону. Последний и выполнил основную часть перевода, который был опубликован в Санкт-Петербурге в 1872 году.